

Как это здесь называется?

Что такое отечество?

Место, где ты не будешь похоронен.

*Борис Хазанов,
«Ветер изгнания»*

— Представьте, что у вас в кухне упал крючок...

— Что за крючок?

— Обыкновенный крючок, для полотенца. Вы моете руки, поворачиваетесь направо...там тридцать лет вашей жизни висит полотенце, а крючок упал, и потому полотенце не висит, а заткнуто за дверцу шкафа.

— Ну, и что?

— ...то, что вы мысленно раздраженно чертыхнетесь и подумаете, что в воскресенье надо наконец достать из кладовки дрель и заново вбить этот идиотский, дорогой-любимый крючок, на котором тридцать лет висит дорогое-любимое, не замечаемое в обычной жизни полотенце.

— Ну, и что? — упрямо повторила я. — При чем тут эмиграционный шок?

Был на исходе 1989 год двадцатого столетия, мы сидели на нашей московской кухне с приезжим гостем, бывшим ленинградцем, который на тот момент уже семнадцать лет жил в Иерусалиме, а в Москву приехал повидаться с сыном от первого брака, и в то время такие залетные персоны из Зазеркалья были *на свежачка*.

— При том, — терпеливо ответил наш гость, он вообще говорил размеренно, спокойно, не раздражаясь, когда его прерывали или возражали ему, — что вся ваша жизнь в первые, длин-

6 ные годы эмиграции превратится в одно нескончаемое ощущение потерянных ориентиров и привычных, налаженных всей жизнью жестов и движений. Вы не понимаете, куда и как вам двигаться. Вы поворачиваетесь вправо, влево... разводите руки и, балансируя, ступаете на тонкий лед, который в любую минуту может под вами треснуть.

Я недовольно фыркнула...

К тому времени у нас дома уже побывало несколько израиль-тян. И все они расписывали какую-то новую захватывающую, едва ли не райскую жизнь под пальмами и пиниями («Дитя, сестра моя, уедем в те края...»). Один рассказывал о снеге в Иерусалиме — как тот лежит на розах, на кустах олеандров... Другая клятвенно уверяла, что вот таких убогих квартир, как наша (мы жили в обычной хрущевке-распашонке), в Израиле просто не бывает, — это впоследствии оказалось наглой брехней. Мы жадно им всем внимали, ибо хотели, чтобы так и было: и снег на розах, и дом с камином, и радость, и дружество, и жизнь, и слезы, и любовь, — ибо жизнь в те месяцы окружала нас премерзкая. Все троллейбусные остановки на километры окрест были оклеены листовками общества «Память». А я сама угодила в знаменитую драку в ЦДЛ между пожилыми представителями писательского демократического движения «Апрель» и молодыми бугаями из общества «Память».

В то время мы уже подали документы в ОВИР и ждали разрешения на выезд. Мы были охвачены порывом вовне, прочь из осточертелой жизни. Прочь из тяжелой, угрюмой антисемитской страны.

А тут — какой-то проезжий зануда со своим крючком на кухне. Полный бред!

Вот кого надо было внимательно слушать... Хотя, конечно, и снег на розы в Иерусалиме зимой изредка выпадает, и дома с камином у кое-кого из нас появились четверть века спустя... Вот кому надо было верить. Будете выть волчьим воем, подспудно обещалось в его словах, будете биться головой о стены, будете немыми, глухими, безхозными. Ничьими будете. Для местных аборигенов — просто слабоумными.

Жизнь ваша будет подвешена на крючок...

* * *

Психологи уверяют, что стресс от эмиграции равен стрессу, который испытывает человек, потерявший двух членов семьи. Не одного — двух!

Труднее, больнее всех пережила эмиграцию наша маленькая дочь.

— Понюхай, понюхай! — восклицала она, раздувая ноздри. — Чувствуешь? Русский запах!

— Что-о?! Что это значит?

— Пахнет нашим подъездом в Москве.

— Ну, что ты, — огорченно говорила я, плотнее перехватывая ее ладошку. — В московском подъезде стояла кошачья вонь, туда вечно алкаши забредали отлить!

Она закрывала глаза и мечтательно качала головой:

— Там прекрасно пахло...

Я проживала день за днем, неделю за неделей, год за годом, описывая это плавание к далеким берегам собственной жизни; описывала страшные штормы, кораблекрушения, одинокий дрейф на хлипком плоту. Но, конечно, и слепящую ширь океана я описывала, и золотые блики солнца на глади волн, и свежий океанский бриз. Ибо это долгое плавание предполагает только одну остановку: конец твоего собственного пути. Ибо за плечами твоими уже нет родины, впрочем, она и в другие времена именовала тебя безродным космополитом. А истинным космополитом еще попробуй стать: ты ведь попала в такую новую свою страну, которая предъявляет себя неумолимо, требует тебя целиком, с потрохами, с детьми и внуками, со всей твоей жизнью; и вот ты вновь подвешена на крючок.

Ты пробуешь понять, что вокруг звучит — о чем говорит окружающее тебя пространство: ведь ты — писатель, ты питаешься звучащим языком народа. Но здесь, даже понимая беглый смысл разговора, ты не схватываешь контекст, глубинную суть местной жизни в ее обиходе. Здесь ты — инвалид, ты действительно слабоумный, к тебе и относятся как к симпатичному, но явно слабоумному существу. А как еще назвать человека, который не понимает шутки, двойного

8 смысла фразы, поговорки, означающей, оказывается, совсем не то, что демонстрирует ее прямой текст... Что они говорят? Почему засмеялась вдруг та девица? А тот громкий старик — он ругается или так выражает свое удовольствие? И как это здесь называется — вот это, да, тот пирожок с корицей! Как это здесь называется?! Как, черт возьми, здесь будет «корица»?

Но, главное, и они не могут тебя понять, и они тебе кажутся, уж признайся, слегка слабоумными.

Вспоминаю эпизод за собственным субботним столом, когда к семейному ужину был приглашен израильский ухажер дочери. Я приготовила «селедку под шубой», говорила гостю: «Что ж ты не ешь, попробуй вот это, вкусно!»

Мальчик спросил Еву, как называется это блюдо на иврите?

Она подумала и сказала:

— Э-э-э...соленая рыба в меховом пальто.

Мальчик изменился в лице и отшатнулся.

А оглядываться назад — дело последнее, вернее, предпоследнее. Самое последнее дело — возвращение назад. Тебя все забыли, выкинули из жизни, ты не понимаешь половины слов, которыми изъясняются эти сопляки-журналисты; язык — единственная драгоценность, которую ты вывезла с собой, — кажется тебе анахронизмом, а вовсе не «замороженной земляникой», — хотя интервьюеры всегда делают тебе вежливый комплимент: «Ах, как же вы сохранили такой русский язык!» Впрочем, такой же комплимент тебе делают и таксисты — вот уж кто брюхом чует чужака. Словом, ты вновь чужая, ты уже пожилая дама, а главное — твое полотенце уже тридцать лет висит далеко отсюда, на совсем другом крючке.

Однако...

Однако когда срastутся ребра, переломанные в кораблекрушении под названием «эмиграция», когда прояснится и обострится зрение, оgranенное ширью океанских валов, когда, преодолев расстояние и время, и, ощутив под ногами новую твердь, ты обнаружишь себя более устойчивой, более жесткой и куда как менее доверчивой и менее сговорчивой... — ты поймешь, что судьба, лишив отечества, подарила тебе некий шанс на вторую попытку.

В конце-концов, литературу создавали и вне родного чернозема: Гоголь, Тургенев, Герцен, Гончаров, Набоков, Бунин... не будем пускаться в этот длиннющий путь, ибо важно другое. У кошки девять жизней, у тебя будут две. Две разные, но единственные и наполненные жизни. Эмиграция — это умножение на двое тоски, но и радости тоже; провалов, но и удач, а как же. Умножение друзей, умножение чувств и зрения, умножение свободы и любви к дому, который тебя приютил и в конце-концов принял. Еще одно, дополнительное измерение бытия! И это огромный фарт, подарочный жетон, который заложен в самой идее эмиграции, в твоей поломанной надвое, но и умноженной на двое жизни.

Дина Рубина

Во вратах твоих

Посвящается БОРЕ

Сказал Эсав Амалеку: «Сколько раз я пытался убить Яакова, но не был дан он в мою руку. Теперь ты направь мысль свою, чтобы осуществить мою месть!» Ответил Амалек: «Как смогу я одолеть его?» Сказал Эсав: «Расскажу я тебе о законах их, и когда увидишь, что пренебрегают они ими, тогда нападай».

Мидраш

Останавливались ноги наши во вратах твоих, Иерусалим...

Псалом

В некоторых африканских племенах верхом бесстыдства считается хождение с бюстгальтером...

*Текст, не прошедший
редактуры*

* * *

Редактором в фирму «Тим'ак» меня пристроил поэт Гриша Сапожников, славный парень лет пятидесяти, уютно сочетающий в себе православное пьянство с ортодоксальным иудаизмом. (Впрочем, в Иерусалиме я встречала и более диковинные сочетания, тем паче что иудаизм пьянства не исключает, а, напротив, включает в систему общеврейских

радостей, у нас, помилуйте, и праздники есть, в которые сам Господь велел напиваться до соплей...)

А Гришка, Гриша Сапожников, носил еще одно имя — Цви бен Нахум, это здесь случается со многими. Многие по приезду начинают раскапывать посконно-иудейские свои корни. Хотя есть и такие, кто предпочитает доживать под незамысловатой российской фамилией Рабинович.

А вот Гриша, повторяю, как-то ухитрился соединить в себе московское прошлое с крутым хасидизмом — возможно, при помощи беспробудного пьянства.

Он работал в одном из издательств, выпускающих книги по иудаизму на русском языке.

Из-за феноменальной его грамотности Гришу в издательстве терпели. Например, строгий тихий рав Бернштейн, чей стол в тесной комнатенке стоял впритык к Гришиному, вынужден был терпеть запах перегара, налитые преувеличенной печалью Гришины глаза и, главное, его драную майку. Дело в том, что по известной причине Грише всегда было жарко.

Как ни зайдешь к нему в издательство — он сидит себе в майке, отдувается, а на стене над ним висит на гвоздике малый талит. (Я объясняю для тех, кто не знает: это нечто вроде длинного полотенца с отверстием для головы посередине, с концов которого свисают длинные нити — цидит.)

— Погоди, я оденусь, — обычно говорил Гриша, снимая с гвоздика талит и, как лошадь в хомут, продевая в отверстие голову. При этом его пухлые плечи с кустиками волос оставались на виду. Меня-то, как человека циничного, обнаженные Гришины плечи смутить не могли, а вот раву Бернштейну явно становилось не по себе, тем более что, беседуя, Гриша то и дело обтирал подолом талита потную шею движением буфетчика, обтирающего шею подолом фартука.

— Запиши телефон, — сказал Гриша, отдуваясь и обтирая шею, — там нужен редактор, это издательская хевра. Спросишь Яшу Христианского.

— Какого? — уточнила я преданно.

Он достал из стола бутылку водки, налил в бумажный стаканчик и выпил.

12 — Да нет, это фамилия: Христианский, — крикнув, пояснил Гриша. — Кстати, он пишет роман «Топчан», так что, боже тебя упаси проговориться, что в Союзе у тебя выходили книги и вообще, что ты чего-то стоишь. Ты ничего не стоишь. Ты — просто дамочка. Старательная дамочка, набитая соломой. Понятно?

— Понятно, — сказала я. — Спасибо, Гриша.

— Рано благодарить. Он тебе устроит нечто вроде проверки. Сцепи зубы и стерпи. Его все знают за жуткую...

Рав Бернштейн кашлянул, и Гриша, запнувшись, закончил:

— Одним словом, оглядишься.

Когда рав Бернштейн вышел из комнатки, Гриша обтер шею подолом талита и сказал:

— Тут и так жарко, а они еще окна загерметизировали.

Окна были исполосованы клейкой лентой вдоль и поперек. Как у меня дома.

— Гриш, война будет? — спросила я.

Цви бен Нахум налил водки в бумажный стакан, глотнул и сказал:

— А хер ее знает...

Накануне войны, улицей темной и тесной пробиралась я в поисках восточного дворца с фонтаном и пальмой.

(Позже, при свете дня, улица оказалась самой обыкновенной, не широкой, но и не узкой, автобусы ходили в обе стороны. Что это было тогда — эта сдавленность восприятия, этот спазм воображения, это сжатие сердечной мышцы — в ожидании войны, дня за три, кажется?)

Объясняли, что справа должен тянуться зеленый забор, потом какая-то стройка, повернуть налево и войти во двор.

Кой черт забор, да еще зеленый — поди разберись в этой тьме! — я поминутно спотыкалась об арматуру, торчащую из земли, и потому поняла, что забор кончился и началась стройка...

До сих пор в слове «война» заключался для меня Великий Отечественный смысл — школьная программа, наложенная

на биографии родителей и расстрелянных родственников. Но поскольку Отечество накренилось, сдвинулось и, отразившись пьяной рожой в тысяче осколков разбитого этой же рожой зеркала, полетело в тартарары, неясно стало — как быть со старыми смыслами и чего ждать незащищенной коже и слизистой глаз, носа, рта. (Противогазы нам уже выдали. Борис составил их аккуратно на антресолях хозяйского шкафа.)

Итак, накануне войны, улицей темной и тесной, как тяжкий путь к свету из материнской утробы (она и называлась соответственно — «Рахель имену», что в переводе на русский означает «Рахель — наша мама»), я пробиралась в поисках восточного дворца с фонтаном и пальмой.

Когда-то, еще до Шестидневной войны, во дворце размещалось посольство то ли Эфиопии, то ли Зимбабве, а после начала той войны то ли Нигерия, то ли Тунис разорвали дипотношения с нами (с нами? с этими, здесь, ну, с Израилем), и посольство в полном составе драпануло из дворца, оставив фонтан и пальму. На редкость крупный, можно сказать кинематографический, экземпляр: высоченная прямая пальма с мощным волосатым стволом, а вот породу — не скажу, не знаю. В нашей стороне (в нашей? в тамошней, в российской) такого не росло.

В полнейшей уличной тьме здание мавританской архитектуры было тепло освещено изнутри ярким желтым светом, и этот свет падал на большие жесткие листья пальмы, на фонтан, подсвечивая их, словно театральную декорацию.

Я поднялась по внешней, легким полукругом взбегающей на второй этаж лестнице, миновала террасу, толкнула дверь и вошла в очень просторный, почти не заставленный холл. Через стеклянные двери аудиторий видны были юношеские головы в цветных вязаных кипах. Я пошла в боковой коридор, столкнулась с каким-то парнишкой, спросила на плохом своем иврите, где тут читает лекцию рав Карел Маркс. Тот указал на дверь, я постучала и вошла.

В этот вечер разбирали тему первой битвы Израиля с Амалеком.

Рав Маркс оказался пылким изящным чехом, жесты имел округлые, певучие: то разбрасывал в стороны сильные кисти

14 рук, как пианист в противоположные концы клавиатуры, то расставлял их боевыми шатрами друг против друга, то вонзал указательный палец куда-то в потолок.

— Не народ против народа, — с мягким нажимом произносил он. — Но Бог против народа! — И плавной дугой вздымался вверх указательный палец.

Талантливым проповедником был рав Карел Маркс. На иврите говорил достаточно хорошо, хотя и с заметным акцентом. Гортанное, на связках «рейш», мягко всхлипывающее у сабр, у него грозно рокотало где-то в носоглотке.

В перерыве все вышли на террасу, там на столике стояли электрический самовар, одноразовые стаканчики, кофе, печенье на тарелке.

— А здесь культурно, — сказал кто-то за моей спиной, — и чисто. Они, видимо, к консервативной синагоге принадлежат.

— А я в ортодоксальную ешиву ходил, — отозвался другой, — так я в жизни столько мяса не ел, сколько там дают. Даже компот с мясом...

Домой я возвращалась в автобусе со старостой группы Гедалией — приятным пожилым человеком с лицом симпатичной козы. Кажется, он работал в университетской библиотеке.

Когда миновали район Мошава Германит и автобус въехал на Яффо, ярко освещенную центральную улицу с там и сям бегающими огоньками рекламы над магазинами, стало веселей на душе. И поскольку говорили все о том же, Гедалиа сказал, неуверенно улыбнувшись в слабую бородку:

— Не думаю, чтобы бомбили Иерусалим. Здесь все-таки мусульманские святыни.

— Знаете, перспектива бомбежки Тель-Авива тоже как-то мало радует.

— Конечно, конечно! — Он смутился. — И потом, у нас тут горы, а газ, как вам известно, стекает и стелется понизу.

— Да, я что-то читала, — сказала я.

* * *

Первые недели эмиграции казались тяжелой болезнью — брюшным тифом, холерой, — с жаром, бредом, да не дома, на своей постели, а в теплушке бешеного поезда, мчащегося черт знает куда. Между тем деятельно занимались делами: отстаивали в нужных очередях к нужным чиновникам, получали пособия, сняли квартиру в приличном районе — правда, религиозном, да шут с ним, какая разница, даже любопытно... Вот только воду приходилось кипятить в кастрюльке. Наш новый эмалированный чайник сгинул в чудовищной пучине шереметьевской таможни.

Соседи слева подарили нам холодильник, который явно был старше, чем Страна. Он никогда не отключался, поэтому скалывать лед, выползавший из морозильной камеры, можно было только ледорубом.

Соседка справа в первый же вечер занесла мне халат и израильский флаг. Флаг был стиранным, халат — тоже. Сын настаивал, чтобы флаг был немедленно вывешен на нашем балконе.

Едва мы заволокли чемоданы в пустую квартиру и вдохнули запах только-только высохшей побелки, зазвонил телефон.

— Семейство Розенталь? — спросили гортанно в трубке.

— Нет, — ответила я по-русски и, спохватившись, исправилась: — Ло.

В трубке еще что-то спрашивали, я торопливо перебила заученной фразой:

— Простите, я не говорю на иврите... — и повесила трубку.

В тот же день съездили на благотворительный склад и привезли оттуда полную машину рухляди: несколько колченогих стульев, две тахты, диван с чужой ножкой, длиннее остальных трех, раскладушку — и огромный обшарпанный канцелярский стол, в котором недоставало трех ящиков. В единственном ящике этого стола я обнаружила записку на русском: «Не забудь полить цветок»... *Поезд все мчался, мчал-*

16 *ся — куда? зачем? что будет со всеми нами? Дети каждый день выпрашивали три шекеля, и ошалевшие от здешних супермаркетов, бегали за жвачками.*

Мы же почти перестали говорить друг с другом, оба умолкли, даже не жались один к другому, как перед отъездом из России, когда тревожно было расстаться на час. Я подозревала, что и Борис болеет этой неназываемой болезнью...

В первую ночь мне приснился сон об иерусалимских банях. Я мылась там вместе с «досами», так называли здесь ультраортодоксов. И как в прежних своих тягостных снах о метро, я была абсолютно, до неприличия раздетой. Хасиды сурово отводили от меня взгляды и яростно намывливали на себе лапсердаки и шляпы. Колебались пейсы, которые светская публика именует «блошиными качелями».

Я проснулась и спросила Бориса:

— В Иерусалиме есть бани?

Он подумал, сказал:

— Вероятно. В каких-нибудь отелях... Вообще, бани — это не еврейская забава.

— Почему? — спросила я.

— Возможно, мы всегда предчувствовали тот жар, спаливший половину нации, ту страшную парную...

Бешеный поезд все мчался, мелькали какие-то пейзажи за окнами — средиземноморские, дивные, картинные: «Как, вы не были еще на Мертвом море? — вот где потрясающе красиво!»... Температурный бред тифозного больного: где я? где я? пить... «Это называется у нас хамсином, — приветливо объясняли мне, — нужно пить как можно больше».

В первую субботу зашли к нам доброжелательно улыбающиеся соседи, подарили Борису талит и пригласили в синагогу. Вернувшись после трехчасовой молитвы, он повалился на тахту с поломанной ножкой и сказал: для того, чтоб быть евреем, нужно иметь здоровье буйвола, боюсь, мне уже не потянуть...

...Наконец сумасшедший поезд сбавил скорость, и можно было уже различить что-то за окнами его: искусно сделанные

парики, похожие на натуральные прически, и густые вьющиеся пейсы, похожие на букли парика. В белой хламиде шел по тротуару царственно прекрасный эфиоп: величественно статный, такой слишком настоящий, что даже казался актером, удачно загримированным для роли Отелло. А те два хасида, шествующие по Меа Шеарим, напоминали Стасова и Немировича-Данченко, или вдруг ухо выхватывало из радиопередачи: «...выступал хор Главного раввината Армии обороны Израиля...»

* * *

Дом, на последнем этаже которого мы сняли небольшую квартиру, стоял на одном из высоких холмов Рамота, одного из самых высоких районов Иерусалима. С балкона четвертого этажа такой раскинулся вид на город — хоть экскурсия води. По левую руку — гора Скопус с башней университета, по правую — башня отеля «Хилтон». Вдали синела кромка Иорданских гор... Ну и так далее...

Дом стоял на холме, выступая углом; наш балкон, если смотреть снизу, с зеленого косогора, напоминал кафедру. Словом, некая возвышенность присутствовала.

Кстати, о возвышенности. Мне кажется, что наличие некоего возвышения, не скажу — обуславливает, но располагает к поискам в собственной душе, не скажу — вершин, но возвышенностей, да. Так что я вижу прямую зависимость религиозного состояния общества от рельефа местности. Вероятно, с вершин уместнее взывать к Богу.

Что касается меня, то я всегда знала, что Бог есть. Я говорю не об ощущениях, а о знании. Это при абсолютно атеистическом воспитании в совершенно атеистической среде. То есть в полном отсутствии Бога. Моя младшая сестра в детстве перед экзаменом по музыке молилась на портрет польского композитора Фредерика Шопена, который висел у нас в комнате. Однажды я подслушала эту молитву. «Шопочка! — жарко шептала моя девятилетняя сестра. — Милый Шопочка, сделай так, чтоб я не ошиблась в пассаже!..» Так что я сразу отмечаю любой диспут на эту тему.

18 По субботам из соседних квартир доносилось широкое утробное пение. Мелодия напоминала нечто среднее между «Шумел камыш» и «Из-за острова на стрежень». Пели здоровыми кабацкими голосами, в которых чувствовалась полнота жизни.

По проезжей части улицы по двое, по трое неторопливо шли мужчины в синагогу. Белые, с черными полосами талиты спадали с плеч, как плащи испанских грандов.

Графически это было так красиво, что первые несколько недель я поднималась в субботу пораньше, чтоб из окна понаблюдать диковинную для меня и такую обычную здесь картину: евреи в талитах шли по улице в соседнюю синагогу...

Когда вернулась способность видеть и слышать, поезд замедлил ход, пополз, остановился, и обморочно вялые, как после тифа, мы сползли со ступенек на эту землю...

* * *

Издательская фирма «Тим'ак», куда послал меня Гриша Сапожников, арендовала помещение у известной газеты «Ближневосточный курьер». Само здание «Курьера» — серое, приземистое, длинное — напоминало нечто среднее между тюрьмой усиленного режима и курятником. «Тим'ак» арендовал на втором этаже небольшой зал, перегороденный самым идиотским способом на множество маленьких кабинок. Войдя в зал, посетитель попадал в лабиринт и принимался блуждать по кабинкам, хитроумно переходящим одна в другую. И поскольку перегородки были высотой в человеческий рост, то по плывущему над ними головному убору можно было определить с немалой степенью вероятности, кто из заказчиков явился.

— Ну-с, что бы такое вкусненькое дать вам поредактировать? — ласково-небрежно спросил Яша, роясь в бумагах на столе.

Христианский оказался ортодоксальным иудеем — рыжим, томным, с орлиным носом, внушительной фигурой, схваченной портупеей (какие носят сотрудники сил безопасности — с кобурой под мышкой), и инфантильной привыч-

кой пятилетнего бутуза оттягивать большими пальцами ремни портупеи, как помочи.

— Да вот, хоть это...

Я взяла протянутый им листок с напечатанным на нем следующим машинописным текстом: «Неотъемлемым правом каждого гражданина Израиля является право быть похороненным за счет государства в течение 24 часов. Если вы желаете быть похороненным рядом с супругом (ой), следует заблаговременно заявить об этом не позднее чем за тридцать дней до похорон...» Далее до конца страницы перечислялись погребальные льготы, положенные каждому гражданину Израиля.

— А... что это? — спросила я обескураженно.

— Какая разница? — улыбнулся Яша. Добрые морщинки разбежались вокруг его рыжих глаз. — Не важно. Не за то боролись! Редактируйте, редактируйте...

— Нет, постойте, может, это юмор...

— Ну, какой же юмор! — возразил он. — Это брошюра министерства абсорбции о правах репатриантов. Выбирайте кабинку по душе. Вот тут работает у нас Катька, там — Рита... Чувствуйте себя комфортно.

Он вышел, а я села в свободную кабинку, достала из сумки ручку и положила перед собой лист.

Первым делом я вычеркнула высокопарное слово «неотъемлемым». Затем вставила слово «покойного» перед словом «гражданина», чтобы у очумевших репатриантов не возникло впечатления, что немедленно по прибытии в аэропорт Бен-Гурион следует воспользоваться правом быть похороненным за счет государства в течение 24 часов. Получилось вот что: «Правом каждого покойного гражданина Израиля является право быть похороненным за счет государства в течение 24 часов». Я содрогнулась и вычеркнула. Написала мелкими буквами сверху: «Правом каждого гражданина Израиля является право в свое время быть...» и так далее. Перечитала и ужаснулась. Решительно вычеркнула все. Глубоко вздохнула и написала: «Если вы умерли, ваше право...» Тьфу!.. Я вспотела... Вычеркнула!... Посидела с минуту, написала:

20 «Каждый гражданин Израиля, умерев в положенный срок, имеет право...» О господи, а если не в положенный? Я вычеркнула все жирно и написала на полях маленькими аккуратными буквами:

«Когда вы умрете, вас похоронят за счет государства в течение 24 часов»

Сидела, тупо уставившись на эту обнадеживающую фразу, и слушала стрекотание компьютеров в соседних кабинках.

Собственно, я прекрасно понимала, что со мною происходит. Обычный стресс, повторяла я себе, такое бывает с людьми первое время в эмиграции. Например, Сашка Колманович, наш сосед, программист, в Союзе работавший над созданием искусственного интеллекта четвертого поколения, проходил на днях тест в какой-то частной фирме по производству компьютерных программ. И последним заданием была просьба нарисовать женщину, обыкновенную женщину. Очумевший от пятичасового теста Сашка нарисовал два треугольника, конус и корень квадратный из какого-то сумасшедшего числа... А это оказался примитивный тест на здоровую сексуальность. Вот и все. Так что после этого рисунка Сашка проходил еще пять дополнительных тестов.

— Рита, Рит... — послышалось из кабинки справа... — Слышь, вчера из России Синайка вернулся...

Слева, продолжая шелкать по клавиатуре, медленно спросили:

— Это кто... Синайка?

— Да сосед наш, — воскликнули справа, — профессор лингвистики, помнишь, я рассказывала — Синай Элиягу Аушвиц. Старенький, основатель кибуцев. Мы его дома Синайкой зовем...

— Ну?

— Вернулся в полном балдеже... «Коммунизм, — говорит, — коммунизм! Как большой кибуц! Свет — бесплатно, телефон — бесплатно. Коммунизм!» Особенно от Ленинграда в восторге. Пришел к «Авроре», а там на набережной бродячий оркестрик играет. Синайка спрашивает: «Гимн можете сыграть?» Лабухи говорят, мол, будут доллары — будет гимн.

Он им бросил в кепку два доллара, они заиграли «Союз нерушимый республик свободных». Он от восторга чуть не спятил. «А можно, — спрашивает, — я дирижировать буду?» Лабухи великодушные, разрешили... Представляешь картинку, Рит?

Слева прекратили стрекотать, помолчали и задумчиво проговорили:

— В этом есть своеобразный сюр: в Ленинграде, на фоне «Авроры», под управлением старого израильского профессора уличные музыканты играют гимн подыхающей империи...

Мне сразу понравились эти двое, этот московский, такой знакомый ироничный говорок людей моего круга. Очень захотелось остаться здесь работать. Хоть за три копейки. Хоть за тысячу шекелей, только бы «со своими».

Я вычеркнула все, что написала прежде, хмыкнула и, понимая, что все равно все пропало, застрочила: «Не приведи Господи, конечно, но если вы помрете — не волнуйтесь. Таки вас похоронят, и довольно быстро, дольше двадцати четырех часов не позволят валяться в таком виде на Святой земле. Вашим родным не придется тратиться, государство Израиль обслужит вас по первому разряду: катафалк, кадиш, то-се — словом, не обидят, вы останетесь довольны. Если же вы так привязаны к своей супруге(гу), что желаете и после смерти лежать с нею рядом, вам следует заблаговременно придушить ее, не позднее чем за 30 дней до своих похорон».

Тут над барьером кабинки справа появилась голова, как мне показалось, пятнадцатилетнего мальчика. Круглые черные глаза с оценивающим любопытством оглядели меня.

— Здравсьте, — сказали мне. — Вы к нам редактором пробуетесь?

Я молча махнула рукой.

— А, понятно, похороны редактировать дал?

— Кать... Ты поосторожней, — послышалось слева. — Он появится сейчас.

— Да у них сейчас дневная молитва, — отмахнулась та, что оказалась Катькой. Имя ей очень шло.

— Он всем про похороны дает? — спросила я.

— Ага, — отозвалась она.

— А зачем? — спросила я. — Ведь с этим текстом ничего невозможно сделать.

— Да он его сам придумал, — объяснила Катька охотно и просто. — Развлекается...

Тотчас рядом с Катькиной головой возникла другая — коротко стриженная курчавая голова борца с удивительно хладнокровным выражением глаз. Обычно такое выражение глаз бывает у людей с хорошо развитым чувством юмора. Я догадалась, что это вторая сотрудница, Рита.

— Хотите совет? — спросила она. — Вы умеете лицемерить?

— Конечно! — воскликнула я.

— Так вот... — Она говорила медленно, словно вдумываясь в какое-то дополнительное значение слов. — Сейчас Христианский выведет вас гулять...

— В каком смысле?

— По улицам, — невозмутимо уточнила она. — И станет рассказывать про свой роман...

— С женщиной? — спросила я.

— Он будет рассказывать о своем романе «Топчан», — пояснила Рита. — Так вот... Хвалите.

— Помилуйте, как же я могу хвалить, если не читала?

— Ну, бросьте, — Рита поморщилась, словно я брякнула несусветную глупость. — А еще хвастаетесь, что умеете лицемерить. Скажите, что замысел гениален, что сюжетные повороты неслыханно новые; и главное — просите, просто умоляйте дать почитать! Хватайте за рукава и ползайте на коленях.

Хлопнула дверь, и над барьерами кабинок поплыла черная кипа Христианского. Он оживленно посвистывал. Тут же Катьку и Риту сдуло по кабинкам, вразнобой деятельно защелкали клавиши.

— Ну, как ваши дела? — спросил Яша приветливо, заглядывая ко мне. — Знаете что, бросьте вы это. Не за то боролись. Здесь такая духота, а на улице благодать, теплынь. Не хотите ли пройтись минут десять? Заодно и поговорим...

Я надела куртку, мы вышли и вдоль забора какой-то стройки, мимо ряда цветочных лотков и кондитерских пошли ходить туда и обратно по тротуару. Я шла рядом с немолкающим Христианским и не переставала удивляться точности предсказанного Ритой сценария. Правда, начал Яша почему-то не с художественной прозы своей, а с журнала, который он сам писал и сам же издавал, назывался журнал «Дерзновение».

Вообще, сразу по приезде в Страну я обратила внимание, что многие газеты и журналы носят здесь такие вот названия, с печатью тяжелого национального темперамента: «Устремление», «Прозрение», «Напряжение», «Вознесение» (нет, пожалуй, последний пример не из той, как говорится, оперы.)

Так вот, сначала Яша пересказывал свою статью из свежего номера журнала «Дерзновение», в которой исследовал, сравнивал и комментировал разные взгляды исторических фигур на эпоху правления царя Персии Кира.

— Вот, посудите сами, — журчал надо мной Яшин голос, — Флавий пишет, что от начала царствования Кира до воцарения Антиоха Эвпатора, сына Антиоха Эпифана, прошло 414 лет. Поскольку Эпифан умер на 149-м году правления династии Селевкидов, на долю Персидской империи остается 414 минус 149 плюс — посчитайте, посчитайте! — плюс 18 лет, итого — 247 лет, что, по существу, то же самое, ибо любой год, завершающий упомянутые промежутки времени, может оказаться неполным. Но не за то боролись! Итак, прием для простоты 246...

Что это, думала я, кивая и изображая вдумчивое внимание, он действительно полагает, что я подсчитываю в уме годы правления династии Селевкидов, или в благоговейный трепет вгоняет? Может, он только три эти абзаца с цифрами насчет Селевкидов и выучил и всех претендентов на должность редактора уводит гулять и тут пугает до смерти?

Но нет, Яша сыпал и сыпал династиями, цифрами, именами из ТАНАХа и Флавия...

— Кстати, имя персидского сановника самарийского происхождения, присланного Дарием, последним царем

24 Персии, в Самарию, представляется мне подозрительно знакомым. Так и есть! Через всю «Книгу Нехемии» проходит самаритянин Санбаллат, изо всех сил мешающий евреям восстанавливать Иерусалим...

...Я смотрела на далекие покатые холмы Иудеи, словно принакрытые шкурой какого-то гигантского животного, выдавшие и Санбаллата, и Нехемию, и многих-многих других, в том числе и прогуливающих меня с Яшей, смотрела и думала: день потерян безвозвратно.

Потом мы зашли в кондитерскую, и Христианский угостил меня пирожным. К этому времени он уже перешел от исторического журнала к своему роману «Топчан», и я, по Ритиному совету, вставляла — не скажу восхищенные, к этому моменту я порядком притомилась, но поощрительные реплики вроде «очень интересный ход», «прекрасно найдено». Христианский по виду совсем не устал, а, наоборот, вдохновлялся все больше и больше, излагал гибкие свои концепции, хитроумные ходы в сюжете. Талантливо говорил... Говорил очень талантливо, то есть по всем признакам и в соответствии с моим житейским опытом вряд ли мог оказаться талантливым писателем.

Когда мы возвращались в здание «Ближневосточного курьера», я не выдержала и спросила:

— А вам действительно нужен редактор?

Яша удивился, встрепенулся, стал говорить о грандиозных планах фирмы «Тим'ак», об огромном количестве заказов, о том, как трудно найти единомышленников, преданных людей...

...Трижды еще я ходила в «Ближневосточный курьер», на второй этаж. Мариновал меня Христианский. Выводил гулять и там долго, витиевато и красочно говорил — и о чем только не говорил! Редактировать он мне больше ничего не давал, о листке с похоронными льготами для граждан Страны словно бы забыл. Я не понимала — чего он хочет от меня, на какой предмет экзаменует? Наконец, когда после четвертого такого променада мы подходили к серому промышлен-

но-угрюмому зданию «Курьера» и я уже дала себе слово, что больше не приду выслушивать Яшины рефераты, на пятой, кажется, ступеньке он обернулся и сказал:

— Ну что ж, давайте попробуем поработать. Больше двух тысяч в месяц я дать вам не могу, и учтите: работы будет много, и весьма разнообразной.

После упомянутой им помесечной суммы я сглотнула и заставила себя помолчать (это был период, когда за десять шекелей в час я иногда мыла виллы богатых израильтян).

— Надеюсь, проезд на работу вы оплачиваете? — наконец спросила я строго.

— Ну, разумеется, — обронил он небрежно. — В конце месяца сдадите проездной секретарше Наоми... Правда, по моим расчетам, послезавтра американцы начнут бомбить Ирак, в связи с чем режим работы у нас немного изменится...

* * *

Название нашей издательской фирмы — «Тим'ак» — было аббревиатурой ивритских слов, означающих «Спасение заблудших».

Мы спасали заблудших ежедневно с десяти и до шести, кроме пятницы и субботы. По четвергам спасение заблудших приобретало размах грандиозных спасательных работ: в этот день сдавался очередной номер газеты «Привет, суббота!», которая являлась главным заказом, выполняемым нашей фирмой. Дня через три-четыре я огляделась и постепенно, без помощи Катьки и Риты, стала ориентироваться в происходящем.

Хевра «Тим'ак» финансировалась канадским миллионером Бромбардтом, но существовала под покровительством Всемирного еврейского конгресса, того самого, что представляет в мире интересы евреев. Когда-то, годах в тридцатых-сороковых он был реальной силой, но со времени основания государства Израиль, которое и само недурно представляло интересы евреев, знаменитый конгресс несколько потускнел. Впрочем, деньжищами, по словам Риты, ворочал немалыми и пригревал огромное количество всевозможных

26 дочерних и внучатых организаций, филиалов этих организаций, да и просто приблудных компаний вроде нашей хевры.

Сначала я путалась в хозяевах, не понимая, например, зачем канадскому миллионеру нужна в Израиле издательская фирма, выпускающая книги на русском языке. Но когда выяснилось, что Бромбардт и сам является членом Всемирного еврейского конгресса, я представила, как несчастному, ни ухом ни рылом не сведущему в деле русскоязычного книжного бизнеса в Израиле миллионеру выкручивают руки акулы-конгрессмены, заставляя купить акции нашей фирмы, и как он отбивается и лягается, но не может отбиться, ибо связан с этими акулами общим великим делом защиты евреев.

В первый же день, проходя по длинному и вечно темному, как бомбоубежище, коридору «Курьера», Христианский остановил меня и, покровительственно приобняв за плечо, сказал:

— Показать вам человека, одна минута которого стоит безумных долларов?

За стеклянной перегородкой в соседней комнате сидела абсолютно израильская по виду компания — несколько джентльменов в расстегнутых рубашках с закатанными рукавами и в мятых брюках, подпиравших круглые животы.

— Которого вы имеете в виду? — спросила я.

— А вон того, что похож на рыжую свинью.

Добрая половина компании была похожа на рыжих свиней. Но один из них был просто альбиносом.

Я взглянула на Христианского — по лицу его струилось непередаваемое выражение ласковой восхищенной ненависти...

Время от времени в нашем зале возникала и плыла над барьерами кабинок белая шевелюра Бромбардта, потом появлялась его сонная физиономия, с которой всегда хотелось смахнуть, как пыль, белые брови и ресницы, физиономия с вечной спичкой, зажатой в зубах.

Когда Христианский кивком указывал ему на вечно расстегнутую пуговицу, он, меланхолично воскликнув «Sorry!», хватался за рубашку или ширинку.

Так вот, акции фирмы принадлежали поровну Бромбардту и Всемирному еврейскому конгрессу. Поэтому члены конгресса входили в совет директоров фирмы «Тим'ак». А главою совета директоров являлся сам Иегошуа Апис, он же Гоша, знаменитый бывший отказник — фигура туманная, влиятельная и, как многие намекали, — небезопасная. Заседал совет директоров не реже чем раз в месяц.

— А сколько служащих в фирме «Тим'ак»? — спросила я Риту в первый день.

— Трое, — сказала она, подумав. — Я, ты и Катька.

— А Христианский?

— Он член совета директоров, — ответила Рита, как обычно вслушиваясь в дополнительный смысл слов. — И главный редактор.

Мне эта ее манера говорить напоминала повадки классного студийного фотографа, который, прежде чем шелкнуть, долго «ставит кадр», возится с лампами, поминутно отскакивает к камере, снова подбегает к модели, чтобы чуть-чуть повернуть подбородок влево... Наконец, окинув взыскательным взглядом художника всю картину, «делает кадр».

С Ритой случилось в Израиле вот что: на второй день после приезда она увидела в автобусе старого марокканского еврея, подробно ковыряющего в носу. Это зрелище вызвало у нее сильнейший культурный шок. Из памяти ее мгновенно выветрились свинцовые чиновники ОВИРа, остервенелое хамство московских голодных толп, пьяная баба, колотившая ее кулаком по спине на станции метро «Филевский парк», — все провалилось в волосатую ноздрю старого сефарда. С тех пор израильтяне были для нее — «они». Понимаешь, у них совсем, совсем другая ментальность, говорила Рита.

Катька же — та, которую вначале я приняла за подростка, — оказалась личностью дикой и трогательной. Катьку пожирал огонь социальной справедливости. Он горел в ее круглых черных глазах, и отблеск этого огня лежал на всех обстоятельствах Катькиной биографии. Она постоянно с кем-то или с чем-то воевала. Вообще Катька была убеждена, что прежде всего каждому нужно дать в морду. А если

28 вдруг человек хорошим окажется — потом, в случае чего, и извиниться можно.

Катька была урожденной и убежденной москвичкой, савеловской девочкой, которую в Израиль приволок муж, и потому рефреном всех Катькиных разговоров было: «Идиотская страна!»

— Идиотская страна! — возбужденно начинала Катька, едва появившись в дверях и бросив сумку на свой стол, и далее мы с Ритой и Христианским выслушивали очередную историю молниеносного сражения Катьки с кем-то или чем-то по пути на работу.

Когда не попадалось под руку никого из посторонних, Катька воевала с мамой, двумя своими детьми — Ленкой и Надькой — и со своим мужем, высококлассным системным программистом, в домашнем обиходе носившим кличку Шнеерсон.

При всем том Катька была человеком еще невиданной мною, какой-то глубинной, первозданной доброты. Можно сказать, все ее существо поминутно пронизывалось грозowymi разрядами положительных и отрицательных импульсов. Охотно могу себе представить, как, подравшись в автобусе и до крови расквасив обидчику физиономию, Катька, расстрогавшись от вида чужого несчастья, рвет на полоски лучшую свою юбку, чтобы перевязать пострадавшего.

Словом, что тут долго рассусоливать: Катька обладала давно описанным, отстоявшимся в веках и очищенным литературой русским национальным характером, живописно оттененным ярко выраженной еврейской внешностью. Неизбежная мутация в условиях *галута*, заметила как-то Рита.

Кроме того, Катька была фантастически одаренным человеком. «Просто у меня детская память на языки», — небрежно поясняла она. Французский и немецкий знала, как родные, через месяц после приезда в Страну уже свободно говорила и читала на иврите и, наконец, имела кандидатскую степень в одной из сложных областей то ли статистики, то ли кибернетики.

— Понимаешь, Яшка Христианский — страшное говно! — в первый день сообщила мне Катька.

Я растерялась. Мы сидели втроем в буфете, маленькой комнатке в тупике одного из длинных темных коридоров «Курьера». Пять столиков стояли чуть ли не вплоты один к другому. Так что вокруг нас сидело и жевало несколько сотрудников «Курьера».

— Кать, не так громогласно, — заметила Рита.

Катька отмахнулась:

— Ерунда, эти чурки по-русски не понимают. Кстати, надо бы учебник английского просмотреть...

Она перегнулась через свою тарелку с отбивной и, глядя мне в глаза, продолжала:

— Ты ощутишь это на собственной шкуре в ближайшее время.

— Но... мне показалось, что он очень образованный человек, — неуверенно возразила я.

— Он очень умный! — немедленно отозвалась Катька, разрезая отбивную. — Очень умный! — Вздохнула и добавила: — Лялю жалко. Хорошая у него жена, Ляля. Мудрая баба.

Весь этот первый день Христианский толочся у моей кабинки, мешая работать и без умолку демонстрируя россыпи самых глубоких знаний во всех областях жизни. Например, долго и утомительно подробно объяснял, как действует Алмазная биржа, время от времени отлучаясь к своему кейсу, который мудрая его жена Ляля с утра забивала фруктами, и через минуту появляясь с бананом, яблоком или хурмой в руке. Ей-богу, он был мне симпатичен!

В этот день я редактировала книжонку для детей, довольно незатейливо пересказывающую библейский эпизод победы Гидеона над мидианитянами и амалекитянами. «И тогда произошло громкое трубление в военные трубы воинов, и прокричали воины: «Меч Господа и Гидеона!»

Я заглянула в конец рукописи, обнаружила, что автор текста — рав Иегошуа Апис, и вздохнула: член совета дирек-

30 торов фирмы «Тим'ак» Гоша заколачивал копейку. Заканчивалась брошюра главой под названием: «Перспектива: когда исчезнет Амалек?»

Вечером, придя домой и поужинав, я сняла с полки Книгу Судей и нашла эпизод с Гидеоном.

«...А Мидианитяне, и Амалекитяне, и все сыны Востока расположились в долине, многочисленные, как саранча: и верблюдам их нет числа, как песку на берегу моря...»

Я закрыла книгу и зашла в маленькую комнату с заклеенным окном — эту комнатку мы предназначили для укрытия на предстоящую войну, в которую все-таки мало кто верил.

Моя четырехлетняя дочь сидела на диване и с увлечением терзала противогаз.

— Кто разрешил тебе взять противогаз?! — заорала я.

— Папа, — сосредоточенно ответила она, не поднимая головы.

...Ночью, часа в три, заверещал телефон. Я вскочила, сорвала трубку. Звонил брат моего мужа.

— Ты только не волнуйся, — сказал он ночным нехорошим голосом. — Я ловил сейчас «голоса»... В общем, американцы метелят Ирак... Так что — война.

— Меч Господа и Гидеона! — сказала я тихо, перетапываясь босыми ногами на холодных плитах пола.

— Что? — спросил он.

— Ничего, — сказала я.

* * *

Утром на пути к автобусной остановке меня прихватил Левин папа, когда, потеряв бдительность, на ходу я пыталась укоротить ремни на картонной коробке с противогазом. Как человек, соблюдающий по мелочам социальную дисциплину, я послушно захватила противогаз на работу.

В этом я сама себе напоминаю солдата, у которого всегда и пуговицы пришиты и надраены, и сапоги начищены, — безупречного солдата, который обязательно дезертирует как раз в тот момент, когда его жизнь понадобится царю-батюшке, королю-императору, родному вождю или Третьему ин-

тернационалу... С детства зная за собой некоторую «швейковатость» по отношению к обществу, я всегда стараюсь усыпить бдительность этого общества соблюдением мелкой социальной дисциплины. Так что я послушно захватила противогаз на работу, продев ремень коробки через плечо, как старый русский солдат — ружье. Коробка, свисая чуть ли не до колен, била меня по ногам.

Тут на меня и наскочил Левин папа.

Этот бравый старикан шляется по израильским «Супер-салям» и «Гиперколям» с дырчатой советской авоськой за рубль сорок, а заслушав русскую речь, заступает людям дорогу и рокочущим баритоном, с отеческой улыбкой отставного генерала спрашивает:

— Из России?

Обманутые его ухоженным добротным видом, этой покровительственной улыбкой, люди, конечно, замедляют шаг и подтверждают — из России, мол, из России, откуда ж еще... Тогда Левин папа, совсем уж приобретая ласково-строгий вид отставного генерала, экзаменующего зеленого лейтенантика, пронзительно всматривается в собеседника из-под кустистых бровей:

— Леву Рубинчика знаете?

Это он произносит тоном, каким обычно спрашивают: «В каком полку служили?» И даже не важно, знают или не знают встречные Леву Рубинчика, — старикан взмахивает болтающейся авоськой, ударяет себя ладонью в грудь и торжественно объявляет:

— Я его папа!

В первый раз я купилась на отеческую улыбку чокнутого старикана и даже честно пыталась припомнить Леву Рубинчика. Но уже второй раз, выслушав весь набор, с криком «Извините, тороплюсь!» — потрусилась прочь. В дальнейшем, завидя его импозантную фигуру с дырчатой авоськой в руках, я немедленно переходила на противоположный тротуар. А тут замешкалась, взясь с ремнем от коробки.

— Из России? — раздался надо мной волнующий баритон.

32 — Извините, тороплюсь! — воскликнула я, бросаясь в сторону.

— Леву Рубинчика знаете? — неслоь мне вдогонку ласково и властно. — Я его папа!

Уже из окна автобуса я видела, как он поймал какую-то молодую пару. Взмахнул рукой с авоськой, ударил себя ладонью в грудь, и — автобус повернул на другую улицу...

Ехать надо было до центральной автобусной станции, пересечь ее пешком и двориками, переулками и помойками выйти на длинную, промышленной кишкой изогнувшуюся улицу, в одном из тупиков которой и стояло здание «Ближневосточного курьера».

На центральной автобусной станции я присмотрела себе нищего.

Еврейские нищие очень строги. Я их побаиваюсь и никогда не подаю меньше шекеля, а то заругают. Мой нищий был похож на оперного тенора, выжидающего последние такты оркестрового вступления перед арией и уже набравшего воздуха в расправленную грудь. Высокий, с благородной белой бородою, в черной шляпе и черном лапсердаке, он протягивал твердую, как саперная лопатка, ладонь, и, казалось, сейчас вступит тенором: «Вот мельница, она уж развалилась...»

Я роняла шекель в его ладонь, он говорил важно, с необыкновенным достоинством:

— Бриют ва ошер — здоровья и счастья...

В фирме царило почти праздничное оживление. Рита, Катька, несколько сотрудников газеты «Привет, суббота!», двое толстых заказчиков из Меа Шеарим, беременная секретарша Наоми — молодая женщина с карикатурно-габсбургской нижней губой — слушали лекцию Христианского на военные темы.

Сладко улыбаясь и оттягивая большими пальцами ремни портупей, пританцовывая и кивая орлиным носом, переходя с русского на иврит и опять на русский, Яша утверждал, что

нас будут бомбить. И сегодня же ночью. При этом он сыпал военными терминами, с уточнением калибра орудий в миллиметрах, названиями газов, с уточнением их химического состава и прочими научно-военными данными, которых черт-те где и когда понабрался.

Увидев меня с противогазом через грудь, взорвался таким искренним, таким лучезарным весельем, что даже проследился, хохоча.

— Ой, что это?! — повизгивал он, вытирая слезы. — Что это за коробочка?! Ох, ну какая же вы милая, вы просто прелесть, дайте ручку, — и перегнувшись через стол, картинно приложился к моей ручке, что ни в какие ворота не лезло, если взглянуть на дело с точки зрения религиозных установлений. Но Христианский и сам ни в какие ворота не лез, он и ортодоксом был необычным, и даже фамилию имел в этой ситуации абсолютно невозможную, вероятно, потому и свой журнал «Дерзновение» издавал под псевдонимом Авраам Авину¹...

После сцены лобызания ручки мы разошлись по кабинкам. «Надо же и работать, война, не война», — сказал Яша, достал из кейса банан, свесил с него лоскуты кожуры на четыре стороны и отхватил сразу половину. Затем, примерно часа два, он мешал всем работать, продолжая лекцию на военные темы, время от времени останавливая сам себя ликующим возгласом: «Но не за то боролись!»

Отвлек его только появившийся Фима Пушман, секретарь Иегошуа Аписа, связник или, как объяснила мне Рита, «челнок» между мозговым центром фирмы, то есть Гошей, и ее рабочим корпусом, то есть нами тремя. Мозговой центр помещался в захлавленной двухкомнатной квартирке, которую снимал Всемирный еврейский конгресс где-то на улице Бен-Иегуда.

Фима Пушман, веснушчатый верзила, еврейский раздолбай лет сорока, в вечно спадающих штанах, вечный чей-то секретарь, отъявленный неуч и бездельник, член, конечно

¹ Авраам Авину — отец наш Авраам (*иврит*).